

18+

# ОЛНА ЖИВА АРГЕНТИНА

Андрес  
Неуман



Андрес Неуман  
**Однажды Аргентина**

«Издательство Ивана Лимбаха»

2003, 2014, 2021

УДК 821.134.2-31 "20"=161.1=03.134  
ББК 84.3 (4Исп) 64-44-021/83.3

**Неуман А.**

Однажды Аргентина / А. Неуман — «Издательство Ивана Лимбаха», 2003, 2014, 2021

ISBN 978-5-89059-594-2

Книга повествует о жизни людей, приехавших со всех концов света в Аргентину. Переплетая личный и коллективный опыт, Андрес Неуман создает семейную сагу, в основе которой лежит драматическая история этой страны в XX веке. Рассказчик прослеживает генеалогию, включающую в себя незабываемых и ярких персонажей, и вспоминает события, произошедшие задолго до его рождения. Автор балансирует между юмором и элегией, и книга становится одновременно романом взросления, политическим заявлением и одой ушедшим. Андрес Неуман (р. 1977) — испано-аргентинский писатель, поэт, журналист. Книги Неумана отмечены крупными премиями и переведены на несколько языков. На русском в 2024 г. вышел роман «Странник века», удостоенный премии Alfaguara, одной из самых престижных литературных наград испаноязычного мира.

УДК 821.134.2-31 "20"=161.1=03.134  
ББК 84.3 (4Исп) 64-44-021/83.3

ISBN 978-5-89059-594-2

© Неуман А., 2003, 2014, 2021  
© Издательство Ивана Лимбаха, 2003,  
2014, 2021

## Содержание

1	6
2	7
3	8
4	13
5	14
6	18
7	20
8	21
9	24
10	25
11	26
12	27
13	28
14	29
15	31
16	32
17	34
18	35
19	37
20	38
21	40
22	41
23	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

# Андрес Неуман

## Однажды Аргентина

*Моей матери и ее четырём струнам*

*Мне сказали, что сюда каждый может прийти и рассказать свою историю.*

*Мигель Брианте*

*То, что я только что рассказал сам себе, – воспоминание.*

*Альбер Коэн*

*У твоей матери есть мать.*

*Страна слов.*

*Махмуд Дарвиш*

© Andrés Neuman, 2003

All rights reserved

© М. А. Кетлерова, перевод, 2026

© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2026

© Издательство Ивана Лимбаха, 2026

# 1

Воспоминания болят, когда возвращаются? Или же, вернувшись, начинают заживать, и тогда мы осознаем, как давно они причиняют нам боль? Мы путешествуем внутри них. Мы их пассажиры.

При мне – письмо и неумная память. Письмо от моей бабушки Бланки, с немного выцветшими строчками. Память – моя собственная, хоть и принадлежит не мне одному. С вечным ее страхом – исчезнуть прежде, чем получится заговорить.

Я отправляюсь в путешествие в обратном направлении.

## 2

Когда я только родился, глаза у меня были широко распахнуты, и по незнанию протокола я не заплакал. Врач пристально осмотрел меня на свету, словно плотный лист бумаги. Я в ответ посмотрел на него, должно быть, полным любопытства взглядом. Врач спросил у мамы, как меня собираются назвать.

Андрес, ответила она, что-то не так, доктор Рикельме? Не знаю, сказал врач, немного испуганно разглядывая меня, этот ребенок не плачет, а только смотрит. Это очень плохо, доктор? Вроде того, сеньора; скажем, если ребенок привыкнет так пристально смотреть, он хочешь не хочешь научится плакать.

Стоял январский полдень тысяча девятьсот семьдесят седьмого года. Доктор Рикельме посчитал, что я чересчур спокоен. Ему не хотелось применять силу, так что он принялся проникновенно нашептывать: Андрес, Андресито, ты чего это не плачешь, а? Ну же, давай, хоть немножечко. Чуток. Ну, давай же, плачь. Мама растроганно следила за нами: вне сомнения, то был мой первый мужской разговор.

Сеньора, объявил врач, ребенок срочно должен заплакать, понимаете? это необходимо для его легких. Что же делать? – разволновалась мама. Рикельме подал знак акушерке и поднял меня так, что наши с ним лица оказались вровень. Увидел напротив два круглых растерянных глаза. Я упорно продолжал хранить молчание. Тогда доктору Рикельме ничего не оставалось, кроме как прикрикнуть: Да плачь же ты наконец, черт тебя подери, сукин сын!

В тот же миг мои глаза подслеповатого котенка наполнились слезами.

Акушерка, стоявшая возле маминых раздвинутых ног, заявила:

– Ну вот, делов-то. Этому парню нужна твердая рука!

## 3

Никто точно не знал, было ли это делом его рук или дело рук его отца, а может, и деда. Но фамилия прадеда Хакобо – моя фамилия – появилась на свет в результате обмана. Может стать, жив еще где-нибудь наш дальний родственник, помнящий, как именно все произошло. Сам я предпочитаю придерживаться той версии, которую услышал в детстве: истории о своемвременном предательстве и находчивой трусости.

Мой прадед Хакобо (или его отец, а может, дед) проживал на территории царской России. Молодых парней из бедных, особенно из еврейских семей сплошь и рядом обязывали два года отслужить в Сибири. Ужас перед призывом был столь велик, а вероятность выжить столь ничтожна, что многие предпочитали изувечить себя, лишь бы сделаться непригодными. Среди соседей Хакобо (или его отца, а может, деда) не доставало кому уха, кому руки, а кому глаза.

Однако Хакобо (остановимся на нем: он этого заслуживает) чрезвычайно дорожил всеми частями своего тела. Поэтому разработал план, позволивший бы ему сохранить их в целости и в то же время избежать призыва. Обратился ли он за помощью к кому-нибудь из дальних родственников? Дал ли взятку на российской таможне? Или же знакомый воришка (однажды мне изложили такую версию, и мне ужасно захотелось в нее поверить) выкрал для него паспорт немецкого солдата по фамилии Неуман?

Единственное, о чем известно наверняка, так это о том, что, когда разразилась Первая мировая война, Хакобо, обзаведшийся подходящей фамилией, находился уже далеко от города Каменец, расположенного на территории современной Украины. Да не просто далеко, а прямо-таки в другом мире: в моем родном Буэнос-Айресе – городе, где меня самого уже нет, но где я все еще остаюсь. Прадед спасся, сменив личность и сделавшись иностранцем. Иными словами – став вымышленным персонажем.

Девушка, которую судьба уготовила ему в жены согласно обычаям той эпохи (в наши дни перешедшим в категорию табу), приходилась Хакобо двоюродной сестрой. Прабабушка Лидия родилась на юге Литвы, но, по любопытному стечению обстоятельств, со своим украинским кузеном познакомилась уже в Буэнос-Айресе. Прочие составляющие ее имени пропали без вести в ухе какого-то портового работника. Там, у стойки «Отеля для иммигрантов», кто-то записал: «Хасатска». Думаю, девичьей фамилией Лидии могла быть Касацкая или Хазацкая. Так в биографии прадеда и прабабки факты, случай и выдумка смешались, как и в моих собственных воспоминаниях.

Сапфироглазая баба Лидия, как мы называли ее на русский манер, была так худа, словно прошлое пожирало ее настоящее. Две ее сестры погибли во время погромов в Литве, но Лидия никогда об этом не говорила. Ее детство представляло собой бесконечный голод, помноженный на страх. Сколько раз ей случалось проводить зимнее утро в очереди за хлебом, который заканчивался еще до рассвета. На ожидание уходило немало сил, а от ночного воздуха тело коченело, так что однажды, когда булочная наконец открылась и оттуда резко пахнуло свежим хлебом, Лидия рухнула в обморок. Придя в себя, она обнаружила, что хлеб расхватили, а все ее платье выпачкано и истоптано толпой. Когда Лидия подросла, ее родители решили попытаться счастья в Аргентине – стране, где у всех уже были (или появлялись) родственники. Вскоре родители Лидии, не спросив, подозреваю, мнения дочери, условились о ее свадьбе с кузеном Хакобо.

В первые годы брака Хакобо обеспечивал семью за счет шляпной лавки, которую они открыли в том же доме, где поселились. В одной из двух комнат спали и ели, а в другой Хакобо изготавливал шляпы. Судя по всему, в Аргентине той эпохи не так-то просто было оказаться с непокрытой головой. Прадед, отказавшийся на несколько лет от отпуска и ненужных расходов, разбогател так, что занялся импортом текстиля. Что оказалось куда прибыльнее шляп-

ного дела, да и не так изнурительно, поскольку торговал он оптом. Именно благодаря торговле, судя по рассказам, прадед и сколотил свое состояние. Ты не обидишься, зейде<sup>1</sup> Хакобо, если я скажу, что мне не особо верится в такую удачу?

Несбывшейся мечтой прадеда было инженерное дело. Он увлеченно наблюдал за стройками, любовался тем, как здания постепенно растут и меняются. Может быть, он видел в этом отражение собственной судьбы: так терпеливо возводится капитал из материалов, откровенно говоря, весьма сомнительного происхождения. Хоть из-за отсутствия профессиональных навыков Хакобо не смог посвятить себя делу мечты, он все же вложил имевшиеся у него знания в разные строительные проекты, которые вел совместно с какими-то таинственными напарниками. Их-то его близкие и винили во всех грехах, стоило какому-нибудь из предприятий провалиться. Он без усталости задаривал всех щедрыми подарками, вплоть до недвижимости, которую поделил между родственниками, даже не догадывавшимися о масштабах наследства, как жители какой-либо страны не осознают масштабов своего наследия. Также зейде вложил в строительство здания, где спустя несколько лет поселились дедушка Марио и бабушка Дорита. Ничто из упомянутой недвижимости ему самому никогда не принадлежало. Как заявлял сам прадед, он хотел разделить наследство еще при жизни.

С тридцатых годов детство дедушки Марио проходило в комфорте, какого не ведали его родители, выросшие в крайне стесненных условиях. Одно время семейство проживало в благополучном районе Вилья-дель-Парке в доме с прислугой, садом и теннисным кортом. Кроме того, у них была машина, а поговаривали, что и личный шофер. Впрочем, прадед Хакобо прослыл самым медленным водителем во всем Буэнос-Айресе: он редко ездил быстрее двадцати километров в час. Потихоньку, потихоньку, бормотал он, сидя за рулем и улыбаясь неизменной широкой улыбкой, приводившей в отчаяние пассажиров. Столь медленная езда в столь быстрой машине как будто прекрасно иллюстрирует противоречивое отношение прадеда и прабабки к материальным благам: они жаждали их и одновременно стыдились.

В те же годы семейство пополнилось малышкой Лией, которая привнесла в их жизнь размеренную рутину и неусыпную бдительность.

Когда мой папа был маленьким, прабабушка Лидия и прадедушка Хакобо жили на улице Пенья, недалеко от перекрестка улиц Лас-Эрас и Пуэйрредон. Тогда папа учился в еврейской светской школе имени Шолом-Алейхема, среди основателей которой числился второй мой прадед – Хонас. После уроков папа часто заходил в гости к Лидии и Хакобо. Зал с пианино и раздвижные двери (движущиеся стены!) поражали его воображение. Комнаты прислуги выходили во внутренний двор, из-за чего вся та часть дома казалась тайной и мрачной, как классовая борьба. Там хлопотала Магда, старая кухарка из Центральной Европы. В ее еле слышном бормотании худо-бедно удавалось различить испанские слова. Хотя все утверждали, что Магда великолепно стряпала, в действительности она редко этим занималась: прабабка Лидия почти не подпускала кухарку к плите, демонстрируя свою власть таким парадоксальным способом. Словно по-прежнему опасаясь, что толпа может задавить ее и обобрать, Лидия хранила все самое ценное в маленьких пакетиках, которые она прятала в коробки, которые убирала в другие пакеты.

Помимо того, что прабабка взяла готовку на себя, освободив от этой обязанности кухарку, большую часть сил она вкладывала в покупку картин и починку электропроводки. В отличие от супруга, неспособного как следует вбить гвоздь, прабабка была настоящей мастерицей по части ремонтных работ. Женщине полагается твердо стоять на ногах, частенько повторяла она дочери Лие, которая, как и ее брат Марио, впоследствии посвятит себя медицине. С раннего детства Лию учили водить машину (только потихоньку, дочка, потихоньку), говорить по-английски и играть на пианино. Мой отец умело пользовался слабостью бабы Лидии к

---

<sup>1</sup> Дедушка (идиш). Здесь и далее примечания переводчика.

музыке, так что она то и дело брала его в театр «Колон». Из-за этих ночных концертов он стал частенько опаздывать на занятия в Национальном колледже Буэнос-Айреса и зевал на уроках. В те времена правительство президента Артуро Илья порционно выдавало свободу, улицы стали открытым пространством, а газеты заговорили во весь голос. Такими – хоть и ненадолго – мой отец застал шестидесятые годы.

Картины Лидии попадали в каталоги и на национальные выставки. Но, наверное, куда примечательнее было то, как она их покупала. Поскольку ни бюджет, ни природная бережливость не позволяли ей тратить на произведения именитых художников, прабабка Лидия взяла привычку заглядывать к начинающим. Нахмурившись, она входила, допустим, в мастерскую молодого Карлоса Алонсо. Рассеянным васильковым взглядом обводила холсты. Задерживалась на одном-двух. Казалось, мысленно она витает где-то далеко, вдыхает запах хлеба. И вдруг изрекала: вот эта. И договаривалась о цене. Таким образом прабабушка обзавелась, например, одним из немногих котов, которых маэстро Алонсо создал за всю свою жизнь. Этот затаившийся кот, написанный крупными яростными мазками, охранял меня в детстве. Позже Лидия подселила в свой импровизированный бестиарий курицу кисти Рауля Сольди. Через несколько лет он распишет купол театра «Колон» – тот самый купол, который я любил разглядывать, когда мне становилось скучно.

Однажды Лидия посетила молодого художника Спилимберго, когда он только-только уволился из почтово-телеграфной службы. Поскольку художнику срочно требовались деньги, он продал прабабушке странный автопортрет, где правой рукой подпирает непропорционально большую щеку. Картину у нас в семье прозвали «Зубной болью», и сейчас она висит у меня дома. С Эухенио Данери, оказавшимся в нужде, прабабушка Лидия заключила необычную сделку: она назначила ему месячное жалованье в обмен на то, чтобы он каждое утро приходил поработать у нее на балконе. Так и представляю себе ошеломленного Данери: он, перегнувшись через перила, здоровается с Магдой, чьих слов не может разобрать. Так и вижу прабабушку: она вырывает у Магды поднос с кофе. И воображаю Данери «узником» акварельно-парящего балкона, сонно бормочущим благодарности в попытках пробиться сквозь этиловые сумерки сознания к утренней ясности ума.

В коллекции прабабушки имелась написанная маслом картина Ракель Форнер из серии о Гражданской войне в Испании. Я хорошо помню ту картину: змеи пожирают остатки полуразложившегося тела, а в торчащих из его головы ветвях птицы вьют гнезда. Возможно, это аллегория борьбы, раздирающей изнутри испанский народ, и его несгибаемого свободомыслия. Как раз в то время Мануэль Фреско, фашистский губернатор провинции Буэнос-Айрес, разражался тирадами против «коммунистической угрозы» и формировал собственную военизированную полицию в духе Муссолини. А когда картиной заинтересовался мой отец, президент Илья уже косо поглядывал на генерала Онгания, ставшего главнокомандующим после разгрома «колорадос»<sup>2</sup> и впоследствии совершившего военный переворот. Сюжет некоторых историй не меняется, меняются лишь очевидцы.

У Лидии и Хакобо было три летних дома. Первый – в провинции Кордова; там папе с сестрами бывать почти не довелось. Второй – в Мороне, где папа, перепрыгивая как-то раз через забор, раскроил себе лоб. От раны остался шрам; спустя много лет похожий будет красоваться и у меня на лбу. Третий дом находился в Мирамаре, и там царила своя атмосфера: пляж, друзья, велосипеды. В Мирамаре моему отцу в кои-то веки удавалось провести время со своим отцом: только там дедушка Марио, который редко нежничал и имел обыкновение ускользать, наконец-то мог расслабиться и с изумлением подмечал, как выросли дети.

---

<sup>2</sup> Конфликт, произошедший в 1862 году между двумя группировками военных – «асулес» (синие, более либерально настроенные военные и ВВС) и «колорадос» (красные, консервативно настроенные военные и большая часть флота).

Одним таким летом дедушка Марио наказал моему отцу приглядывать за Хакобо. Зейде болел, и ему запрещалось курить больше трех сигарет в день. Отцовская задача состояла в том, чтобы порционно выдавать прадеду табак, и он ответственно его припрятывал, а каждое утро перепроверял запасы. Только после приемов пищи или ожесточенного спора Хакобо разрешалось выкурить сигаретку. Тогда отец вставал, шел к своему тайнику и возвращался, страшно гордясь тем, как отлично справляется с возложенной на него миссией. Он не скоро узнал, что зейде, кроме положенных трех сигарет, которые тот принимал с насупленным видом, выкуривал по целой пачке всякий раз, когда выходил на прогулку: подожди-ка меня тут, голубчик, сейчас вернусь, вкусенького не хочешь? уверен? проси что угодно, ингеле<sup>3</sup>, мы же на каникулах!

Хакобо, с напомаженными волосами и вечной улыбкой, был таким дедушкой, какого заслуживает любой ребенок. Можно сказать, вторым истинным призванием прадеда, наряду с предпринимательством, было нянчить внуков, а самым большим для него наслаждением – подкармливать их и смотреть, как те едят. Он подговаривал внуков выбрать самый большой десерт и замороженно наблюдал, как они уписывают сладкое за обе щеки. Гулять с прадедушкой Хакобо было все равно что гулять с седым мальчишкой. Хакобо хотел абсолютно все, и все это он хотел дарить. Он был голоден до насыщения других. Может, в том и заключался его девиз: раздать наследство еще при жизни.

Несмотря на крайнюю, чуть ли не изуверскую худобу прабабушки Лидии, со временем у нее стала обвисать кожа на руках. Поначалу, не меняя сурового выражения лица, Лидия сопротивлялась мольбам моего папы, восклицала «тш! тш!», но в конце концов уступала. Тогда они приступали к ритуалу утонченного каннибализма: она закатывала рукава, чтобы он мог подержать ее за кожу. Уже будучи женатым мужчиной, папа все равно просил ее закатать рукава, а она все так же сопротивлялась, хоть и знала, что в итоге все равно поддается. Во время визитов Лидия с моей мамой обсуждали скрипки. Прабабку интересовало, чем мама чистит смычок, где хранит его, как меняет струны. В доме у бабы, кроме отказа от еды, существовало единственное табу: ругать Аргентину. Моя литовская прабабушка превратилась в ярую патриотку. Стоило отцу начать критиковать ситуацию в стране или, вторя своим родителям-иригойенистам<sup>4</sup>, горевать по поводу неизбежного возвращения Перона, Лидия хмурилась, за стеклами ее очков вспыхивали синие искры, и она принималась возмущаться: тш! тш! эй, не смей мне катить бочку на Аргентину, послушай-ка внимательно, это богатая и щедрая страна, так что попридержи язык, не смей мне катить бочку на Аргентину.

У зейде Хакобо политика вызывала скуку и недоумение. А второй мой еврейский прадед, Хонас, был, напротив, заядлым политическим активистом. Хотя оба тепло относились друг к другу, общего у них было мало, только иммигрантское прошлое. Так что, за неимением подходящих тем для разговора, они обменивались осторожными колкостями.

Хакобо восклицал: вус тисте<sup>5</sup>, Хонас, ну и тощий же ты стал, тебе стоит поменьше читать да побольше есть!

Хонас отвечал: фрайнт<sup>6</sup> Хакобо, уж чья бы корова мычала, старая ты развалина! Меня-то хоть сделали не в прошлом веке!

Прадед Хакобо, предполагаемый дезертир российской армии, действительно родился в 1898 году. В том самом году, когда Толстой пожертвовал весь гонорар с «Воскресения» секте духоборов, преследуемых за отказ от военной службы.

---

<sup>3</sup> Мальчик (идиш).

<sup>4</sup> Иполито Иригойен (1850–1933) – государственный деятель и президент, один из основателей «Гражданского радикального союза».

<sup>5</sup> Как поживаешь? (идиш)

<sup>6</sup> Дружище (идиш).

Жизнь прадеда Хакобо угасала вместе с Пероновой, в то время как министр Лопес Рега разрывался между астрологическими прогнозами<sup>7</sup> и подготовкой государственного переворота. В день, когда Перон произнес свою последнюю речь и отрекся от «Монтонерос»<sup>8</sup>, прадеда увезли на скорой. Он умер в больнице, на строительство которой пожертвовал средства, а дедушка Марио присутствовал при его предсмертной агонии. Хакобо умер от рака, и утверждают, что прадед не знал о своей болезни: настоящий диагноз от него скрывали до последнего приступа. И все же, учитывая одержимость прадеда маленькими радостями, подозреваю, он с самого начала все знал.

---

<sup>7</sup> В 1962 году Хосе Лопес Рега издал книгу «Эзотерическая астрология».

<sup>8</sup> Партизанская организация, ведущая вооруженную борьбу против диктатуры.

## 4

Сама того не ведая – но будто что-то предчувствуя – бабушка Бланка вручила мне наследство. Невесомое, но тяжкое: историю своей жизни. Когда-то я предложил ей записать воспоминания, чтобы они не пропали. И вскоре сам об этом забыл. А она не забыла и передала мне однажды несколько исписанных, сложенных вдвое листков: сейчас, терзаясь сомнениями, я держу их в руках. Слова на страницах одновременно пафосны и по-детски наивны, а такого почерка уже не встретишь – в нем считывается пульс иной эпохи. Строки шепотом рассказывают правду. Это письмо изменило мою жизнь – или, по крайней мере, мои представления об обязательствах. Теперь я должен отблагодарить бабушку Бланку, продолжив его.

«Я постараюсь порадовать моих дорогих внуков и расскажу им свою маленькую историю». Так, словно выступая перед слушателями, бабушка Бланка начинает свой рассказ; она знает, что как минимум два читателя у нее есть. Буквы кривятся, но тут же упрямо выпрямляются, как старая балерина, пытающаяся держать осанку, несмотря на боль в спине. «Я постараюсь порадовать моих дорогих внуков и расскажу им свою маленькую историю. Я знала обеих своих бабушек: одна из них была креолкой, другая – француженкой». Так начинается ее короткая семейная сага, которая теперь странствует внутри моей.

Персонажи, выдумывающие воспоминания и вспоминающие выдуманное. Где правда? Где ложь? Не в этом суть.

## 5

Тетя Сильвия и ее немецкий муж Петер владели маленькой книжной лавкой на улице Аскуэнага, на углу с Санта-Фе. Посетители заглядывали к ним, разговаривали с дядей и тетей о книгах, пили кофе. Незадолго до событий, о которых пойдет речь, в подсобке сожгли кое-какие издания, запрещенные Министерством образования и культуры: от Фрейда до Фромма, от Паулу Фрейре до Сент-Экзюпери, включая Родольфо Уолша, Гризельду Гамбаро и Мануэля Пуига. Огонь оказался надежнее мусорных баков, ведь портье – народ наблюдательный, и мусор в конце концов мог обрести новых хозяев. Удивительно, но лавка тети с дядей называлась «Шах книге». Эта неуклюжая метафора оказалась весьма ироничной.

После государственного переворота 76-го года генерал Видела объявил террористами не только тех, кто закладывал бомбы, но и тех, кто распространял идеи, чуждые западной христианской цивилизации. Поэтому приходилось сжигать книги, а затем смачивать пепел и хорошенько перемешивать: написанное стирается с трудом. Рассказывали, что по ночам какие-то типы на «Форде Фалкон» обыскивают книжные магазины. Причем марксистскими изданиями они не ограничивались и вполне могли прихватить эссе о кубизме за вероятную апологию режима Кастро или классику вроде «Красного и черного» за возможные анархистские послы. Забрать могли и самих владельцев магазина. Многие были наслышаны о подобных случаях. Но подробностей никто не знал, да и, в конце концов, почему с нами что-то должно случиться, мы же ничего такого не сделали. Да только вот некоторые постоянные посетители внезапно переставали появляться.

Тетя Сильвия, совмещавшая работу в книжном с непостоянными архитектурными проектами, только-только забеременела. Мама (им с папой тоже пришлось уничтожить кое-какие книги и брошюры у нас дома на улице Фицрой) только-только родила меня. А в Кордове, ровно за девять месяцев до моего рождения, Третий армейский корпус устроил коллективное сожжение изъятых книг: полыхали во всей славе Пруст, Гарсиа Маркес, Неруда и прочие возмутители спокойствия. И в самый разгар государственного переворота мои родители и дядя с тетей решили завести детей. Не знаю, можно ли назвать это парадоксом. Родятся новые жизни и все станет лучше. Им в это верилось. Им необходимо было в это верить. Пока «Форд Фалкон» не припарковался у дома тети с дядей.

На следующий день трубку они не взяли. Двери «Шаха книге» остались закрыты. Тетя Понни, придя к сестре домой, обнаружила квартиру в полнейшем раздразе. На полу валялись ящики и книжные шкафы, кресла были перевернуты вверх тормашками. Дедушка Марио и бабушка Дорита отдыхали тогда в Барилоче. Уговаривая их побыстрее вернуться, родители соврали, что у тети Сильвии проблемы с беременностью. Дедушка Марио, как полагается хорошему отцу, притворился, что верит, но как хороший врач не поверил ни на секунду. Они с бабушкой Доритой первым же рейсом прилетели в Буэнос-Айрес. О дочери все еще не было никаких вестей.

У бабушки Дориты случился нервный срыв. Дедушка Марио несколько часов просидел на диване как истукан. Отец все звонил и звонил по телефону. Мама ходила на репетиции, меняла мне пеленки и прокуривала себе все нервы. Я, как обычно, не плакал.

Объехали больницы и полицейские участки. День пролетел быстро. Они отказывались верить. На следующее утро все шло своим чередом. На репетициях в театре «Колон» звучали симфонии и легкие шаги балерин. В больнице у Марио принимали больных и отпускали здоровых, а в казармах дела обстояли ровно наоборот.

На следующий день мой папа и дедушка Марио встретились с немецким консулом, чтобы попросить того походатайствовать и справиться о дяде. Его фамилия Шульце, Петер Шульце, твердили они консулу, словно какую-то мантру. Консул, как и любой на его месте, обещал

попытаться. Мама ходила на репетиции и прокуривала себе все нервы. Дядя с тетей указали наш адрес как место прописки, поскольку постоянного места жительства у них пока не было. Но ведь к нам прийти не могут. Или могут? У меня ни с того ни с сего начался понос. Когда мама позвонила рассказать о происходящем дедушке Хасинто и бабушке Бланке, те никак не могли взять в толк. Но разве они в чем-то замешаны? – допытывались дедушка с бабушкой. Многие задавали тот же вопрос.

Отец вместе со своей второй сестрой, тетей Понни, изучили все оставшиеся контакты. В записной книжке у дяди и тети обнаружился номер некоей экс-депутатки, жившей неподалеку от книжного, на улице Ареналес. Сеньора экс-депутатка обладала тремя выдающимися качествами. Она была племянницей полковника ВС, соратника генерала Виолы. Вероятно, входила, извиняюсь за оксюморон, в число светлых умов диктатуры. А также являлась постоянной покупательницей «Шаха книге». Она обожала покупать там книжки с картинками для своих дочерей, и те читали, растянувшись на полу прямо в магазине. Папа с тетей Понни только пару раз видели ее лично, но терять было нечего. Они позвонили и договорились о встрече.

Пугающе накрашенная сеньора экс-депутатка приняла гостей как нельзя более радушно. Так они же день-деньской торчат в магазине! удивилась она, что же они могли натворить! Отец и тетя Понни ей поддакивали. А они, случайно, ни в чем подозрительном не замешаны? вдруг предположила экс-депутатка. Отец и тетя Понни отрицательно замотали головами. Она поспрашивала еще. Хотела вызнать кое-какие детали. Принялась размышлять вслух. Тетя Сильвия еврейка по происхождению, кхм, ясно; в семье имеются социалисты и даже не один; но она замужем за немцем, так что это может быть на руку. Выпив кофе с печеньем и не выходя из комнаты, добросовестная экс-депутатка сняла трубку, по памяти набрала номер и попросила позвать полковника. Дожидаясь ответа, она ободряюще улыбнулась гостям. А затем произнесла:

– Дядя, это я. Ты не можешь проверить, нет ли у вас там Сильвии Неуман и Петера Шульце? С одной «н». Нет, через «ц». Ты прелесть, спасибо.

Прикрыв трубку ладонью, хозяйка бросила на них последний предупреждающий взгляд:

– Точно они ни в чем не замешаны, вы уверены?

Отец и тетя Понни распрощались с ней чрезвычайно учтиво, ощущая во рту тошнотворный привкус. Кофе был великолепен. В знак благодарности они пообещали принести цветы. Розы, конечно, розы.

Спустя пару дней тетя Сильвия и дядя Петер объявились с завязанными глазами в Палермских лесах.

Их привезли в фургоне с другими восемью-девятью людьми. Приказали досчитать до пятисот и только потом разрешили снять с глаз повязку. Лежа лицом вниз посреди роши, десять полуголых незнакомцев шепотом считали до пятисот, вздрагивая от любого звука. Они знали, что их могут пристрелить еще до окончания этого бесконечного счета. Закончив ждать, они медленно постыгивали повязки с глаз. Попытались сфокусировать взгляд. Переглянулись. И молча разошлись кто куда.

Судя по маршруту, проделанному туда и обратно, тетя Сильвия и дядя Петер пришли к выводу, что их держали в Рехимьенто-де-Патрисьюс, одной из тайных тюрем. То есть они «исчезли» всего лишь в трех минутах от нашего дома.

Хотя во время учебы на архитектурном факультете тетя Сильвия какое-то время состояла в «Революционной коммунистической партии», похитителей явно интересовало что-то другое. Во время допросов они беспрестанно называли имена совершенно ей незнакомых людей, связанных с «Монтонерос». Может, данные Сильвии они обнаружили в записной книжке кого-то, кто имел к ним какое-то отношение.

Моя тетя-архитектор большую часть времени отчаянно страдала от острой потребности и гнетущей невозможности сориентироваться в череде камер, пахнущих мокрым цементом. То

была неощутимая пытка, чуть ли не единственная, которую оказалось невозможно предвидеть заранее. Ее держали с завязанными глазами и кандалами на ногах, из еды – только вода и прогорклый рис. Иногда она слышала – или ей казалось – как Петер ее зовет.

Во время пыток Сильвия узнала о своем теле много такого, чего предпочла бы не знать. Из главных неожиданностей – способность причинить себе боль: не всегда удары электроудушки оказывались болезненнее, чем удары головой или спиной о поверхность, к которой ее приковали. В какой-то момент это показалось ей откровением, хотя она толком не поняла почему.

В перерывах между попытками подремать на полу она неустанно отслеживала через крошечные прорезы в повязке состояние своего нижнего белья, проверяла, нет ли крови. Как-то тете показалось, что она видит кровь, и она потребовала пустить к ней врача. Кандалы так и не сняли, вместо этого ее повели на звук приятного голоса. Голос задал ей несколько вопросов, ощупал и предложил таблетки. Почувствовав на ладони таблетки, тетя засомневалась. А вы точно врач? спросила она. Тогда мужчина схватил ее руку и потянул вниз. Сильвия пыталась сопротивляться, но он оказался сильнее. Она нащупала чьи-то лодыжки и такие же кандалы, как у нее самой. Да, дочка, вздохнул голос, я врач.

Пока тетю пытали, дядю заставляли смотреть. И не переставая спрашивали, какого черта немец умудрился заделать ребенка еврейке. Те типы вряд ли были в курсе, что баварский Кобург, родной город дяди Петера, стал к тому же первым местом во всей Германии, где к власти пришел мэр-фашист.

Прежде чем их отпустить, похитители посоветовали дяде с тетей далеко не уезжать, не общаться с определенными людьми и много чего другого, о чем дядя с тетей не захотели мне рассказывать. Сильвия и Петер так больше и не переступили порог своего дома. Они остановились у друзей. Пытаясь избегать многолюдных сборищ, они тайком принимали в гостях только самых близких. Дедушка Марио оказал им первую помощь. Он прослушал Сильвию и убедился, что его будущий внук твердо намерен родиться. Для более тщательного осмотра он отправил ее на прием к коллеге-гинекологу.

Гинеколог не заметил никаких отклонений, но признался, что не знает, как пытки могут сказаться на беременности. Подобные ситуации не входили в сферу его компетенций. На всякий случай он предложил тете сделать аборт. Та медленно ощупала живот, словно пытаясь прочесть его наподобие шрифта Брайля: какие сигналы успел уловить плод, сколько всего услышал, как глубоко добрались электрические разряды?

Доверившись интуиции, с замиранием сердца – точнее, уже двух сердец, тетя Сильвия решила рискнуть: они не могли полностью сковать ее, не могли украсть у нее хотя бы это.

Они с дядей в срочном порядке сделали паспорта и купили билеты на самолет. Собирая скудный багаж, Сильвия оставила любимое серебряное кольцо в подарок сеньоре экс-депутатке. Стал ли для тети тот мрачный жест благодарности спасительнице, соратнице их палача, повторным унижением? Или же, напротив, проявлением свободы?

Машина немецкого консульства отвезла дядю с тетей в аэропорт; другим семидесяти двум исчезнувшим немецким гражданам повезло гораздо меньше. Из соображений безопасности провожать никто не поехал. Билеты взяли туда и обратно. Дядя с тетей решили объехать латиноамериканские столицы, где у них были родственники и знакомые, посмотреть, что встретится на пути. Решать приходилось быстро: тетин живот был вместо календаря.

Сначала они съездили в Лиму, где Сильвия чуть не нашла работу в архитектурной сфере и где они ужасно устали от постоянно моросящего дождя. Через несколько недель они съездили в Кито, где жил кузен Уго и где они решили было остаться. Затем съездили в Боготу, но их хорошие друзья как раз собирались оттуда уезжать. После этого – на несколько дней в Сан-Хосе, где знакомый Петера работал пианистом в отеле на площади Демократии. Они ждали случая, знака, чтобы решить, где остаться. Сомневались, стоит ли пересекать Атлан-

тический океан; может, предчувствовали, что оттуда возвращаются редко. Беременность шла своим чередом. Родись мальчик, его бы назвали Пабло, если девочка – Маленой. В итоге тетя с дядей обменяли билеты: может, лучше им уехать как можно дальше.

В Буэнос-Айресе вестей от них не было. На всякий случай общение стоило свести к минимуму. Бабушка Дорита, мой отец и несколько его друзей ликвидировали склад «Шаха книге». Тут в лавку потянулись бывшие посетители. Одни изумлялись. Другие строили догадки.

Одним прекрасным майским днем 77-го года наша семья получила открытки из Мадрида: Сильвия и Петер добрались до Испании. Оставалось всего несколько недель до первых выборов после смерти Франко. Там, на исторической родине прадедушки Хуана Хасинто и бабушки Исабель, начали разрабатывать Конституцию. В Аргентине в то время ее даже не читали. Поэтому мой кузен Пабло родился в Мадриде. И поэтому он тоже по-своему аргентинец.

## 6

Епископ Буржский: Я требую, чтобы вы немедленно взяли свои слова обратно. Встаньте на колени и просите прощения.

Скульптор Рене: Если уж я не становлюсь на колени перед Богом, святой отец, то уж тем более не встану перед простым смертным вроде вас.

Так пересказывает бабушка Бланка историю о том, из-за чего моему прадеду Рене пришлось покинуть Францию и перебраться в город Каусете гористой провинции Сан-Хуан. Однако, боюсь, такой велеречивый ответ куда больше походит на исторический анекдот, чем на реальный случай. По правде говоря, я даже припоминаю, что встречал сцену спора епископа с прадедом в трех или четырех книгах.

Единственное, что доподлинно известно, так это что Рене выполнял заказы городских властей, не пользовался расположением духовенства и спешно покинул город вместе с семьей.

Молодые супруги понимали, что придется начинать жизнь с нуля, но не представляли себе, как именно. Кое-кто из фанатичных буржцев осмелился высказать мысль, что прадед навлек на себя гнев божий. Во время тернистого пути через Атлантический океан двое из троих его детей смертельно заболели. Единственной, кто пережила дорогу, была малютка Жюльет, мать моей бабушки Бланки. Вскоре после того, как семейство наконец добралось до Андских Кордильер и поселилось в Каусете, случилось землетрясение, поглотившее их скудные пожитки. Пытаясь спасти из огня хоть что-то, прадедуська Рене заработал сильнейшую грыжу, которая с тех пор не давала ему спокойно работать. Обездоленные и перепуганные супруги решили перебраться в Буэнос-Айрес. Там у них родилось трое детей – дети новой земли.

Жену Рене звали Луиз-Бланш, и в трех словах ее можно было бы описать как исключительно утонченную женщину. Хоть она и провела в Аргентине полжизни, не было и дня, чтобы она не тосковала по родной земле, или же по воображаемому раю, куда так никогда и не вернулась. Она называла свой рай все более далеким от оригинала именем – Буршэ. На французский лад. Прабабушка Луиз-Бланш имела обыкновение мешать заученные креольские слова с родными иноземными корнями. Она упорно называла «бульон» «буйоном» и, в общем, разговаривала на идеальном иностранно-испанском языке. Ее нежная кожа не выносила швов, так что вплоть до самой смерти прабабушка щеголяла в одежде, вывернутой наизнанку.

Соседи любили посудачить еще об одной ее привычке – нежелании прикасаться к деньгам. Подобно разорившейся богатой наследнице, Луиз-Бланш, в одежде наизнанку и с манерами истинной дамы, по-версальски заворачивала купюры в красивую бумагу для писем и так расплачивалась в овощной лавке. Она говорила, что больше всего от райских садов детства ей недоставало аромата цветов, в особенности фиалок, не идущих ни в какое сравнение с грубой порослью южной окраины мира.

Лишь в вопросах пищеварения Луиз-Бланш забывала всякие тонкости. Выражаясь точнее, испражнялась она поистине красноречиво. Экскременты ее выглядели чудовищно в глазах человека, столь чувствительного к объемам, как скульптор Рене. Стоило ему оказаться в туалете после жены, как он принимался твердить: *Ah, chérie! Ne me parle pas de violettes!*<sup>9</sup> Тут моя прабабка, удостоив его шаловливой улыбкой, исчезала из виду, напевая под нос какую-нибудь милонгу.

Хоть Луиз-Бланш никогда не считала себя аргентинкой, не могу не отметить, что ее привычки прекрасно соответствовали национальной идиосинкразии: смеси некоего трагиснобизма со склонностью к эсхатологии<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Ох, дорогая! Даже не говори мне о фиалках! (фр.)

<sup>10</sup> Игра слов: намеренно соединяются в одно эсхатология (раздел богословия, занимающийся изучением конечной судьбы



## 7

Время со скрипом продвигалось вперед. В полтора года я ходил вполне уверенно и гордо называл светофоры «ситафолами».

Наша страна принимала чемпионат мира, который, разумеется, нужно было выиграть. «Мы, аргентинцы, – как заявит чуть позже военная хунта, – гуманны и стоим за правое дело». Видимо, поэтому молодого инопланетного левшу Марадону туда не позвали.

Нужно было одержать победу, и победа была одержана. Мы сделали все возможное и невозможное: перуанская сборная тому свидетель. Наши голы ослепительно сверкали на новоиспеченном канале «Аргентинское цветное телевидение». После героического финала против голландцев игроки аргентинской сборной под градом конфетти торжественно прошествовали к подиуму по газону «Монументаля», вышагивая твердо и решительно. Генерал Видела вручил кубок капитану и лично поздравил каждого игрока, превознося их похвальную верность родине, а трибуны тонули в овациях.

Отец праздновать отказался.

– Да просто тебя не интересуется футбол, – упрекнул его наш сосед, одетый в футболку цветов национальной сборной.

В ту победную ночь мы остались дома. С улицы доносились песни, пронзительный свист и рев колонок. Отец был серьезен. Мать не играла на скрипке. Меня же волновала только еда.

Вокруг Обелиска<sup>11</sup>, подобно плаценте, скользила эйфория. Центр встал намертво, так что от «ситафолов» не было никакого толку.

---

<sup>11</sup> Монумент-символ Буэнос-Айреса. Установлен в 1936 году в честь 400-летия основания города. Именно здесь впервые был вывешен флаг независимой Аргентины и здесь же по традиции собираются болельщики после победы сборной.

## 8

Полицейские входили в кафе. Просили показать документы, допрашивали. Клиенты следили за отточенными движениями мужчин, которые, казалось, в совершенстве знают свою работу. Важнейшей задачей было ничего не сделать, ничего не делать и стараться ничего не делать и дальше. Сосредоточиться на этой задаче, продемонстрировать полную приверженность этому «ничему», погрузиться в горячее содержимое чашки, с явной невозмутимостью помешивать черную густую жидкость, дожидаться, пока сахар хорошенько растворится, и продолжать вести беседу как ни в чем не бывало, но желательно потише. Обычным тоном. Многие клиенты, однако, казались довольными.

Один из полицейских подошел к маминому столику. Поприветствовал ее, наскоро приложив два пальца к правому виску, и исключительно вежливо произнес:

– Хотелось бы узнать, сеньорита, что у вас там внутри.

Может, в других кафе и в других странах это не прозвучало бы как приказ, но мама все поняла. Она быстро разложила футляр на коленях.

– Давайте взглянем, сеньорита, позвольте-ка мне.

Мать знала наизусть все ритуалы этой литургии. Уверенно, но осторожно она просила полицейского обходиться с футляром поаккуратнее. Не трогайте, пожалуйста, только не трогайте, в маминой просьбе звучало и беспокойство об инструменте, и явное отвращение: каково ей было терпеть, что этот субъект лапает скрипку всей ее жизни.

Полицейский раздражался, и тогда мама вздыхала, встряхивала копной длиннющих угольно-черных волос, заговаривала, смотрите, офицер, медленно открывала футляр и принималась объяснять, в чем состоит ее работа, где она работает, почему не может расстаться с футляром, смотрите, офицер, и описывала ему, какая это хрупкая вещь ручной работы, немецкая скрипка, восемнадцатый век, представляете, офицер, и субъект не знал, стоит ли ему потопрапливаться или, наоборот, присесть послушать рассказ сеньориты, и мать показывала ему по очереди запасные струны, они потолще потому, что самые низкие, а эти тоненькие, все, все, больше не буду про струны, видите, господин? а вот это кармашек, чтобы хранить резинку, карандаш и все такое, понимаете? чтобы записывать партитуры, хотите открыть? ладно, ладно, как прикажете, а вот это камертон, камертон, да, для «ля», что значит какой такой «ля»? нет, господин, я вам сейчас объясню, это такое простенькое устройство, которое издает звук «ля», чистый «ля», чтобы мы все попадали в ноту, понимаете? да, именно, нет, прошу вас, внутри скрипки ничего нет! офицер, умоляю, так нельзя, поймите, это же восемнадцатый век, вот именно, офицер, благодарю вас, а вон там колки, нет, не давите на них! они просто проворачиваются, смотрите, вот так, смотрите.

И так проходил вечер, приходил сентябрь, а с ним и хорошая погода, возобновлялись привычные разговоры, обычные разговоры, как можно тише, как за маминым столиком. Патрульная машина газовала, но кофе уже успевал остыть.

Ни на улице, ни на работе не разрешалось организовывать собрания численностью более трех человек, чтобы не навлечь подозрений. Но, по правде говоря, совсем не вызвать никакого подозрения было сложно. Поскольку избирать рабочих делегатов тоже запретили, мою мать выдвинули музыкальной представительницей (или каким-то подобным перифразом) коллег по оркестру.

Если точнее, делегатство как таковое не запрещалось. Просто приходилось воздерживаться от проведения собраний. Разумеется, у всех было неотъемлемое право высказаться; только по отдельности. Тайные собрания считались опасными, не столько из-за репрессий, сколько из-за того, что на них присутствовали информаторы и стукачи. Необходимо было отдавать себе отчет, с кем разговариваешь, что именно говоришь и кто тебя слушает.

Так, например, за наш телефон в доме на улице Индепенденсия отвечала одна телефонная компания. Вернее, две: первая – Национальная телефонная компания, а вторая была поскромней и лишь однажды о себе заявила. Мать обсуждала запланированное собрание с коллегой по синдикату, как вдруг в разговор вмешался третий голос. Надо сказать, он обошелся парой слов. Только и сказал:

– Пойдешь на собрание – уедем тебя, чертова сука.

Собрание было назначено на следующий день. Повис срочный и неразрешенный вопрос: музыканты с временным контрактом заявили о своем праве на оплачиваемый отпуск, а коммодор Дель-Ганчо, которому вверили театр «Колон», объявил, что намерен не продлевать им контракт по причине их необоснованного возмущения. Коммодор Дель-Ганчо не очень разбирался в музыке Бетховена, но зато очень серьезно интересовался танцами: не одна балерина успела оценить его боевой пыл. В целом в театре поддерживалась дисциплина: шаг к шагу, нота к ноте. Все замечания делались исключительно шепотом, а на стенах, на черном фоне, повесили таблички, гласившие: «Соблюдайте тишину. У стен есть уши».

Что-то в духе: «Слушайте, смертные»<sup>12</sup>.

Мама сомневалась, идти ли на собрание. С одной стороны, как представительница коллег она была обязана пойти. Ведь, приняв решение остаться в синдикате, она прекрасно понимала (понимала ли?), на что идет. И если сейчас, в свои двадцать с чем-то лет, не решиться рискнуть ради своих убеждений, то когда, черт возьми, она еще сможет это сделать? А на другой чаше весов был голос в трубке. И ее сын. И муж. И сестра мужа в Мадриде, живая по чистой случайности. И книжная лавка «Шах книге». И все исчезнувшие.

Той ночью у нас дома допоздна велись споры, идти ли на собрание. Собрание перед главным собранием. Мать пила черный кофе, отец – черный чай. Я спал на боку у края кровати, словно круглая монета, что вот-вот упадет.

Выйдя утром из дома, мама осмотрелась, проверяя, не следят ли за ней; ей показалось, что нет. Вместо того чтобы дожидаться автобуса на улице Дефенса, она села на первый попавшийся, идущий в центр, а затем на всякий случай пересела на другой, идущий до Трибуналес. Тайком она следила, не наблюдают ли за ней другие пассажиры. Оказавшись практически напротив синдиката, она из предосторожности пошла в обход. Постояла у какого-то киоска. Притворилась, что разглядывает одежду.

Здание синдикату даровала Эвита<sup>13</sup> Перон. Думая об Эвите, вместо живого человека мама представляла олимпийскую богиню, с пучком золотых волос и поднятой вверх рукой, как в книжках, по которым ее сестра Диана училась читать. Я видела Эву. Эвита пришла ко мне. Эвита меня любит. Эта дама – Эва. Отчего-то мать вдруг вспомнила про пианино бабушки Бланки и черепашках соседки. Притворившись, что пытается зажечь сигарету, она быстро огляделась по сторонам и переступила порог синдиката.

Собрание шло долго. Почти все коллеги смогли высказаться, но, казалось, никто так и не произнес того, чего на самом деле хотел, или же просто все говорили то, чего не хотели говорить. Мимоходом упомянули товарища, давно не появлявшегося на собраниях. Над столом замечались тревожные взгляды. Тему сменили. Кто-то пошутил. Все поспешно рассмеялись. Вновь подняли вопрос о неотъемлемом праве на оплачиваемый отпуск, хотя тут же упомянули возможные сокращения. Через несколько часов постановили среди прочего, что мать договорится о встрече с Дель-Ганчо и передаст ему – насколько будет возможно – о чем они условились.

Выйдя с собрания, мать поняла, что у нее кончились сигареты. Сомневалась, сходить ли за ними. В конце концов сходила и купила. И ничего не случилось.

---

<sup>12</sup> Первые строки гимна Аргентины.

<sup>13</sup> Эвита – уменьшительная форма от имени Эва. Так обыкновенно называли Марию Эву Дуарте Перон.

Но в те годы ужасными считались и дни, когда ничего не случалось. Словно пустота целилась в другую сторону.

На следующее утро родители крепко поцеловались на прощание. Отец ждал учеников по флейте и приглядывал за мной. Мать шла на репетицию в «Колон». И курила.

– А я вам говорю, сеньорита, – ответил коммодор Дель-Ганчо— если их не устраивают условия работы – пусть не играют, и дело с концом.

– У этих музыкантов, господин коммодор, есть такое же право, как и у нас, взять отпуск или даже заболеть. Что в этом удивительного?

– Отставить! Удивительно то, – подчеркнул Дель-Ганчо, оглядывая юбку моей матери, – что вас это так заботит. Вы же на постоянном контракте. Почему бы вам не позаботиться о себе.

– Но ведь некоторым моим коллегам не так повезло, они живут в ужасной неизвестности.

– Это неуместно. Вы выступаете от лица других, сеньорита?

– Вовсе нет, господин коммодор, вовсе нет. Я просто отлично могу вообразить себя на их месте.

– Да, да. Я вижу, что у вас отличное воображение.

– Я сама была на таком контракте и знаю, каково это.

– То есть вы все же говорите от своего лица? Просто из солидарности?

– Не знаю, господин коммодор, мне кажется, это мой долг.

– Ничего себе. Как трогательно, сеньорита, такое чувство долга. Весьма тронут.

Моя мама ничего не продумала заранее. Просто ее маленькая подвижная ручка сжалась в кулак. И слова вырвались против воли:

– Это не казармы, господин коммодор, это театр.

Моя мама уже не говорила от лица товарищей. Ни об отпусках, ни о контрактах, ни о стране. Все сосредоточилось в ее маленьком сжатом кулачке. Коммодор смотрел на нее.

Едва выйдя из театра, мама расплакалась от ужаса. Она повторяла свои слова с гордостью и сожалением. Бунт больше не казался ей столь уместным, как полчаса тому назад. Ну что? спросил отец, услышав, как хлопнула дверь, и отложил мои грязные пеленки.

Когда сезон закончился, никого не уволили и все ушли в оплачиваемый отпуск. Вполне возможно, коммодор счел свою уступку весьма остроумной или же получил от всего этого извращенное удовольствие. Словно дал наглядный пример, что запросто может решать и отменять решения, казнить и миловать. Всякий раз, оказываясь с мамой в лифте, коммодор Дель-Ганчо с сардонической ухмылкой разглядывал ее декольте.

## 9

Году в восьмидесятом отец переехал в холостяцкую квартиру на улице Марсело Т. де Альвеар. Наш дом в Сан-Тельмо вдруг сделался больше, и я обнаружил, что мама иногда плачет тайком. Я худел; страна тоже. Многие из того, что я любил, вдруг начало исчезать. К счастью, отец объявлялся каждые выходные и отводил меня полакомиться гигантскими порциями мороженого и пожевать какой-нибудь бутербродик, прямо как зейде Хакобо, или же мы ходили куда-нибудь в парк играть в футбол, который он презирал. Мы становились лицом друг к другу, на расстоянии нескольких метров, и пасовали мяч. Я пинал с полной отдачей, больше всего на свете боясь пропустить гол. Отец казался рассеянным.

Однажды зимним вечером он привел меня взглянуть на свою новую квартиру. Зрелище оказалось пугающим. И здоровским. Я с изумлением обнаружил, что кухня может поместиться в шкафу и ее можно разложить, когда тебе вздумается. Отец сказал, что у него для меня есть подарок. Удивительное совпадение: у меня для него тоже был подарок. Разумеется, сначала он показал мне свой – футболку аргентинской сборной. Отец даже купил номерок из ткани, чтобы пришить на спину. Десятки<sup>14</sup> не нашлось, так что он решил подарить мне девятку. Форма у девятки оказалась странной, словно ее вырезали ножницами, а сама ткань была красной, а не черной. Я слегка расстроился, но все же мне стало смешно, когда я представил, как папа вышивает мне номер на футболке.

Я подготовил ему в подарок свои новые каракули, выполненные темперой. Это картина в твой новый дом, заявил я торжественно, как Кандинский. Он поцеловал меня и спросил, куда я хочу ее повесить. Я медленно обошел коридор и маленькую столовую. Осмотрел каждую стену и даже потолок. Наконец заглянул в ванную.

– Тут, ты уверен? – удивился отец.

Я кивнул и указал на плитку прямо над унитазом.

– Теперь у тебя два дома, – сказал папа, погладив меня по голове, – разве это не здорово?

После полдника я спросил, во что мы будем играть. Во что хочешь, ответил он, но сначала нужно помыться. Тогда я попросил его поиграть в чай, как мы часто делали. Я залезал в ванную, а отец приносил пластмассовые чашечки, которые хранились в его кухне-невидимке. Он с важным видом входил в ванную, усаживался на унитаз и притворялся, что мы в баре. Я прятался под водой и залегал на дно, а потом вдруг поднимался во весь рост, голый и величавый, и спрашивал посетителя, чего бы ему хотелось выпить. Он на секунду задумывался, а потом просил чай. Английский или зеленый, а временами – травяной сбор для пищеварения. Я отвечал, что, разумеется, сейчас все приготовлю. После чего осторожно зачерпывал чашкой мутную воду и протягивал ему. Отец благодарил. В шутку пробовал чай. Нахваливал, какой же вкусный он получился. А стоило мне отвлечься, как тотчас выливал воду, и можно было начинать сначала.

После ужина я попросил у отца разрешения лечь спать с ним. В виде исключения он согласился.

Той ночью, улегшись рядом с отцом, я первым делом описался в его новую кровать.

---

<sup>14</sup> Номер Диего Марадоны.

## 10

Ее звали Франка, и ей только-только исполнилось шестнадцать. Она училась на флейтистку. По классу блокфлейты.

Однажды она без предупреждения не пришла на урок. Как странно, подумал мой отец. И на следующей неделе тоже не объявилась. Как странно, повторял отец, может, ей наскучили занятия, ведь в этом возрасте все быстро надоедает, верно? Родители девушки утверждали, что та ушла гулять с друзьями и не вернулась. Не вернулась, хотя должна была где-то находиться, ведь люди не исчезают вот так вот бесследно, в один момент. Сами того не замечая, мои родители стали упоминать ее имя шепотом. Тсс. У стен есть уши.

Ее звали Франка, и ей только-только исполнилось шестнадцать.

## 11

На Мальвинских островах<sup>15</sup> дул ветер, море ревело и все такое. Отечественные самолеты разрезали экранное небо. Генерал Галтьери превозносил аргентинский народ как образец храбрости и верности. Я восторженно втыкал флажки в цветочные горшки на балконе. Мам, а кто побеждает? то и дело интересовался я. Неизвестно, мое сокровище, пока неизвестно, вздыхала она. Да уж, разве при таком-то хилом энтузиазме мы могли одолеть англичан?

Как-то рано утром я вошел в мамину спальню. Как обычно, не постучавшись, собираясь потребовать свой завтрак. И обнаружил, что мама уже не спит; но она была не одна. На ее кровати, завернувшись в халат, полулежал бородатый мужчина. Бородатый мужчина в знакомом халате горчичного цвета. Мой отец.

Он попросил меня подойти. Взял за плечи, долго со мной беседовал. Говорил о нас, о доме, о перемирии. Восемьдесят второй год, год войн и мирных соглашений, то и дело неуклюже оступался. Мои родители уже не были такими влюбленными, но любили друг друга еще больше.

---

<sup>15</sup> Название, принятое в Аргентине и других испаноязычных странах, для обозначения Фолклендских островов.

## 12

Площадь Мая была оранжевой от восторга<sup>16</sup>. Мы прыгали и пели, заменяя барабаны. Вдалеке президент Альфонсин приветствовал народ с балкона мэрии, победно сжимая руки в замок. Сияющая мама, беременная моим братом Диего, хлопала в ладоши над выпирающим животом.

В тот день мне немилосердно жали новые ботинки. От боли я едва стоял на ногах. Я попросил отца посадить меня на плечи. Воскликнув «гоп гоп!», он подбросил меня к небу. Сверху было видно куда лучше. Человеческие головы не так уж похожи, как мне казалось снизу. Некоторые плакаты читались легко, на всех было написано большими буквами РА. Аббревиатура страны и ее президента<sup>17</sup>. Наверное, я не совру, сказав, что солнце отливало золотом.

Скоро ботинки начнут жать очень многим<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Подразумевается оранжевый цвет плитки, которой выложена площадь Мая – центральная площадь Буэнос-Айреса, свидетельница важных исторических событий.

<sup>17</sup> РА – Республика Аргентина и Рауль Альфонсин.

<sup>18</sup> Отсылка к экономической ситуации в стране в годы правления Рауля Альфонсина, на которые пришлись гиперинфляция и стремительный рост государственного долга.

## 13

Школа Мариано Акоста гордилась тем, что ее основал Сармьенто, которого в моих учебниках окрестили «неувядающим». В той же школе проходил преподавательскую практику некий Хулио, до того как стать Кортасаром. Там мне выпало учиться у потрясающих педагогов. О плохих умолчим, что с них взять.

В школе прогресс уживался с насилием, а французский язык – с удушающей маскулинностью. Казалось, в администрации работают свободомыслящие люди, но девочек в школу не брали. Жесткой дисциплины не требовали, но после каждой перемены мы выстраивались в шеренгу по росту, на расстоянии вытянутой руки друг от друга, соблюдая дистанцию. Мы учились в государственной школе, без крестов и религиозных церемоний, но в качестве утреннего ритуала поднимали национальный флаг и исполняли гимн, который возвещал: «Высоко в небе бравый орел реет... Это флаг моей Родины, от солнца рожденный и Богом дарованный мне». В общем, типичная школа аргентинского среднего класса.

Сеньор Ньевас входил в аудиторию, пародируя мимику актеров немого кино: он утверждал, что учиться надо со смехом. Сеньор Альбанесе входил в аудиторию, отпуская колкости и дерзкие замечания: он поощрял нас писать рассказы, ненавидел теорию синтаксиса, помог собрать библиотеку и добился того, что мы все передрались за возможность первым брать книгу. Сеньор Ренис входил в аудиторию, чертыхаясь, как капитан Хэддок: он отвечал за конкурсы по арифметике и орфографии, от которых нам рвало крышу, как от футбола. На переменах Ренис играл с нами в «труко»<sup>19</sup> и однажды за плохое поведение подвесил Толстяка Сесарини на вешалку в классе. Когда мы совсем отбивались от рук, он требовал тишины, бросаясь в нас мелом так метко, что мы ужасно завидовали: его снаряды отскакивали от пюпитров главных зачинщиков хаоса и терялись в глубине кабинета, ни разу никого не задев. Это он научил нас, что слова могут выражать что-то неочевидное на первый взгляд и что ругательства – тоже слова. Когда тебе девять и ты носишь школьную форму, такие маленькие истины вполне революционны.

Все тот же сеньор Ренис первым рассказал мне о Жюле Верне. Раз в неделю, если мы укладывались вовремя, он награждал нас за усердие чтением главы из книги «Вокруг света за восемьдесят дней». Я до сих пор помню божественную музыку романа, начитанного им. Ренис заполнял пространство своим энергичным хриловатым голосом, делал драматические паузы. Тем, кто не верит в захватывающую силу историй, хватило бы поприсутствовать на одном из таких чтений и увидеть, как мы сидим, подперев ладонями напряженные изумленные лица, как тридцать пять дикарей умоляют Рениса не останавливаться, а продолжать читать. И тут звенел звонок.

---

<sup>19</sup> Вид карточной игры, распространенной в Испании и странах Латинской Америки. Этой игре Хорхе Луис Борхес посвятил известное стихотворение с одноименным названием.

## 14

Это случилось 20 июня 1973 года, в День флага. Моя мать только что вышла замуж и поступила в Филармонический оркестр Буэнос-Айреса. Она ехала на автобусе из аэропорта. Весь ее багаж: двадцать лет, муж и скрипка.

Филармонический и симфонический оркестры были приглашены участвовать в торжественной встрече генерала Перона, возвращавшегося в страну после многолетнего изгнания и двадцати лет запрета. До посадки самолета оставалось чуть больше часа. Правительственный автомобиль должен был встретить генерала на посадочной полосе и в сопровождении военных и конной полиции провезти через поле к огромной трибуне. Трибуну украшало гигантское изображение генерала, с Эвитой по левую руку, и Исабель, его тогдашней супругой, по правую. Развевавшиеся аргентинские флаги разрезали эти три изображения, а над сценой парили прожекторы и громкоговорители. С трибуны Перон и Исабель должны были поприветствовать собравшихся, после чего генерал произнес бы речь, и церемония завершилась бы исполнением государственного гимна.

Мать знала, что гобоист Педро ди Гримальди, собравшийся уходить на пенсию, решил пропустить церемонию, сославшись на очередной приступ легочной болезни. В воздухе звенело напряжение, словно какой-то духовой инструмент, молчавший слишком много тактов, вот-вот взорвется звуками. Накануне предупреждали о давке, возможных провокациях и несчастных случаях. По проспекту Хенераль-Пас прошел миллион человек, отвоевывая место между деревьями и асфальтом. В окрестностях аэропорта Эсейсы собрались представители разных политических групп почти со всей страны. Перонистская молодежь, «Монтонерос», активисты «Революционной армии народа» и прочих небольших военизированных группировок, а также целые семьи, дети сторонников Перона, которые шли своими глазами взглянуть на запрещенного идола родителей. Все жаждали встретить лидера, но каждый представлял его по-своему.

Доставить туда автобус с музыкантами оказалось сложной задачей. Почти столь же сложной, как отыскать место для парковки среди грузовиков, автомобилей и лошадей, а потом постепенно, потихоньку пробраться, прорваться сквозь человеческие массы и полицейский кордон, стараясь не повредить инструменты, и подняться друг за другом на тесную сцену. Нелегко было добиться сыгранности между двумя оркестрами: они даже не репетировали вместе. И вот, сжавшись в единое, как комок ртути, музыкальное целое, сотни рук потянулись за партитурами. Мама пыталась отвлечься от суматохи и попадать в ноты. Пахло, чем же пахло? травяной настойкой, и горячей древесиной, и каучуком смычка, и влажным воздухом, и совместным потом, и далеким дымком от мяса, которое собравшиеся целыми днями жарили в окрестностях аэропорта, где разбили палатки. Некоторые музыканты снимали пиджаки и повесили их на пюпитры, закутав в них партитуры.

Дирижер подал знак, чтобы музыканты играли как получится. Поле Эсейсы кипело под мозаикой аргентинских флагов, разноцветной одежды и плакатов. Со сцены маме удалось прочесть смятые фразы: «Здесь, мой генерал!», «Эвита жива», «Власть – Перону». Кто-то тронул маму за плечо и взял ее карандаш с пюпитра. «Всегда храним верность», «Перон или смерть». Мама попыталась сыграть арпеджио, но едва слышала себя. «Вчерашние депутаты сегодня твои солдаты». Кто-то вновь тронул ее за плечо и вернул карандаш. Какой-то из секторов тянул: «Все они здесь, ребята Перона». Флаги сотрясались, словно от бури. Маме захотелось помочь. Барабаны разбивали свет, цимбалы его сплющивали.

Вдруг по толпе пополз зловещий шепоток. От смятения образовалась какая-то пустота; унисон перешел в тишину. Внезапный такт ожидания тут же прервался сбивчивым ритмом пуль и криков. Музыканты инстинктивно бросились на пол и закрыли головы руками. Вжав-

шись лицом в доски и почувствовав, как в рот ей набились волосы, мама услышала взрывы, вопли, удары, лошадиное ржание. Она ощутила, как дрожит сцена, а внизу начинается давка. На расстоянии нескольких тел она различила контрабасиста Ридольфи, укрывшегося за своим инструментом, словно в траншее. Воспользовавшись моментом, она убедилась, что скрипка в безопасности, а затем закрыла глаза. Где-то на полу кто-то крикнул, что надо вернуться в автобус, и только тогда музыканты открыли глаза, приподняли головы и вспомнили, что делают там, в окружении перевернутых попитров и пустых стульев.

В тот же момент начался переполох, вальс бегства, по очереди, по очереди, кричал кто-то за спиной у мамы, нет, вон туда, вон туда, мама прижимала футляр со скрипкой к груди и бежала, пытаясь не терять из вида спины в черных пиджаках – свою петляющую путеводную звезду, натываясь на бегущие во все стороны тела, море силуэтов, деревьев, лошадей, машин, поднимающийся дым застилал глаза, и в горле першило, нужно было бежать, вон туда, туда, и мама врезалась в кого-то, оба, толкаясь, отпрянули друг от друга, звуки сирен стреляли в воздух, как обезумевшие камертоны, им вторили пули, крики сливались в фальшивый хор, музыка ужаса, на траве можно было различить колошматящие друг друга сплетенные тела и тела раненых, а еще какие-то подозрительно неподвижные; и полицию, газующие грузовики, танки, перевернутые машины, скорые, фотографов, запах дыма, полыхающей древесины, горелого пластика, газа, вкус кислотных слез. Мама различила вдали оркестровый автобус.

В воздухе летали камни, летали удары, летали световые всполохи, крутились туда-сюда головы и усиливался звук, летали голоса, исчезающие и появляющиеся. Мама сжала зубы, футляр и ножные мышцы и прыжками понеслась к автобусу, ждавшему с заведенным мотором. Рот наполнился чем-то соленым, словно она глотнула крови. Аргентинские флаги развевались и плавились на ветру.

## 15

В школе у меня были две основные миссии: прилично бить по мячу, чтобы Авераме и Эмсани могли пасовать головой, и читать вслух на патриотических мероприятиях. Учился и вел себя я не настолько хорошо, чтобы мне доверили возделенную миссию поднимать аргентинский флаг. Но, видимо, директору нравилось, как я декламирую стихи. Поэтому он смиренно спускал мне пренебрежение школьным халатом<sup>20</sup>. Подобное отношение порицалось в течение года, но накануне 9 июля<sup>21</sup> и 25 мая<sup>22</sup> считалось и вовсе непростительным. В те дни любая потерянная пуговица моментально становилась пуговицей-апатридом.

Как-то утром, за несколько минут до исполнения государственного гимна, директор нерешительно подошел ко мне. Пристально изучив взглядом мои халат и ботинки, он объяснил, что знаменщик заболел. Я напомнил ему про моего друга Паса, запасного знаменщика. Директор с суровым видом сообщил, что тот тоже болен. Тоже? Черт подери, не могут же все желания сбыться одновременно.

Давай, Неуман, вперед! приказал директор. Я подчинился. Под насмешливыми взглядами одноклассников прошел к флагу. Он стоял там, в глубине двора: небесно-голубой с белым «майским солнцем»<sup>23</sup>. Я боялся, что не смогу поднять его, как Пас, умудрявшийся вскидывать флаг так, что движение совпадало с финальными аккордами гимна. Стоя у подножия флагштока, я смотрел на спущенный флаг, с близкого расстояния казавшийся унылым и сдувшимся, как пластиковый пакет.

После торжественного вступления на фортепиано зазвучал гимн: «Слушайте, смертные, священный клич»<sup>24</sup>. Я почувствовал, что меня вот-вот стошнит от страха. Все зачесалось. Кровь отхлынула от лица. Думайте о Родине, Неуман, зашептал директор у меня за спиной. Я кивнул и потянул за веревку.

---

<sup>20</sup> Белый халат – школьная форма в младшей школе в Аргентине.

<sup>21</sup> День независимости Аргентины.

<sup>22</sup> День нации, также называемый Днем Майской революции (1810 года).

<sup>23</sup> Изображение солнца на флаге Аргентины, названное в честь Майской революции 1810 года.

<sup>24</sup> Первая строка аргентинского гимна.

## 16

С раннего детства, сколько себя помню, я четко осознавал зло. Или, иными словами, знал, как легко остаться безнаказанным. Мне казалось, сумасшедшая жажда безответственного зла где-то совсем рядом и в любой момент может овладеть мной. Часто меня одолевало еще одно осознание: осознание смерти. Если от смерти нет спасения, какой тогда смысл в добре? Смерть я представлял в виде черепа посреди пустыни, в окружении кактусов, как в мультиках. Череп был моим собственным, голым, легко узнаваемым. Но там, за пределами пустыни, неизменно горели огни поселений, жизнь текла, как прежде, и не умолкал гомон человеческих голосов. В это мгновение картинка размывалась, голова у меня начинала кружиться, в легкие прекращал поступать воздух, и тогда я отчетливо, с ужасом замечал, что не могу подобрать слов. Может, из той бессловесной пустоты и рождается зло.

Иногда я специально совершал какую-нибудь мелкую пакость, просто из любопытства, что произойдет дальше. Но дальше ничего не происходило. А как же наказание? И где обещанный глас совести? Почти все ребята из моей школы принадлежали к Римской апостольской католической церкви, и им достался запас длинных молитв, с помощью которых можно было попросить прощения, милости или заступничества. Мне же покаяние стоило огромных усилий. А если и удавалось, я не обнаруживал никакой высшей сущности, чтобы перед ней свидетельствовать о покаянии. Лишь свою собственную тень. Как любил приговаривать дедушка Хасинто, каждый должен уметь остаться наедине со своей совестью. В восемь или десять лет столь благословенное одиночество меня ошеломляло.

Вместе с моим другом и соседом Рамосом я основал недолговечный «Клуб похитителей „матчбоксов“». Однажды, по пути из школы домой, я посвятил его во все тонкости операций, которые сам с успехом провернул, и предложил стать моим подельником. Наша цель заключалась в том, чтобы собрать полную или хотя бы большую коллекцию машинок «матчбокс». У нас дома было предостаточно игрушек, а бабушка Дорита вместе с двумя подругами только-только открыла магазин развивающих игр под названием «Светлячок», но именно металлический блеск и идеальная подвеска «матчбоксов» лишали меня сна.

К тому времени я успел завладеть такси, патрульным «мерседесом», парочкой гангстерских автомобилей и синим «шевроле». Их обладатели никак не могли заподозрить меня в краже. Стратегия состояла в том, чтобы дожидаться кутерьмы, возникавшей под конец гонок, которые мы на переменах устраивали в патио. Обычно во время напряженного финиша все принимались спорить, кто выиграл, и надо было самому затеять спор, чтобы все участники хорошо тебя запомнили. Потом, распалив остальных, мы, члены клуба похитителей, должны были бы отделиться от толпы и тайком подкрасться к драгоценным машинкам «матчбокс», оставшимся валяться без надзора.

Когда в своих разьяснениях я дошел до этого момента, Рамос возразил, что запросто может получиться, что кто-нибудь из наших товарищей отвлечется от спора и застукнет нас. Я ответил, что просчитал такую возможность и что хороший похититель «матчбоксов», подбравшись к чужим машинкам, должен на всякий случай сделать вид, что хочет взять свою. А потом нужно ловко орудовать руками и внимательно смотреть по сторонам. При малейшем риске оказаться в чьем-нибудь поле зрения рука должна переметнуться от чужой машинки к своей. Если же все пойдет по плану, как только чужой «матчбокс» окажется у нас, нужно немедленно спрятать его в штаны или даже в трусы; только не в карманы школьного халата, иначе будет слишком заметно. Но самое главное, Рамос, шепотом подытожил я, ты должен оставить свою машинку рядом с другими машинками, понял? В общем, на последнем этапе ограбления нужно было оставить «матчбокс» на дорожке и вернуться к группе, а когда споры утих-

нут, потянуться за своим «матчбоксом» и хором со всеми возмущаться исчезновению чьей-то машинки.

Эта операция, разумеется, таила в себе и другие опасности. Достаточно было хоть раз попасться, и тогда всему плану кранты. Но именно поэтому, объяснил я Рамосу, мне нужен партнер. С подельником куда надежнее: он может заслонить тебя в момент кражи или подогреть драку в решающий момент. Или, например, окажись какая-нибудь из желаемых машинок похожа на наши, один из нас мог бы схватить машинку соратника, притворившись, что ошибся, помогая тем самым другому добиться намеченной цели. В таком случае, застань нас кто на месте преступления, оправдание бы нашлось. В паре работать было бы намного проще, а коллекция получилась бы намного богаче. Рамос внимал мне со смесью восторга и осуждения. Желая выглядеть хорошим мальчиком, он немного поупрямился, прежде чем согласиться.

В школе, как и за ее пределами, кражи случались нередко. Особо зорко приходилось следить за деньгами, футбольными мячами и часами. Когда у меня что-либо крали, я крал с процентами. Но моими жертвами становились не только потенциальные воры или одноклассники, которых я недолюбливал. Не раз я крал у собственных друзей. Мы шли домой, вместе полдничали, я ждал, когда они отвлекутся, и моя рука уж тут как тут. Где же мой горемычный друг мог потерять свою игрушку? С ангельски невинным видом я пожимал плечами. Клептоманские привычки продержались у меня пару лет, но мучился я еще долго. Почему я оказался способен причинить зло своим друзьям? И как только они этого не замечали и продолжали меня любить? Может, благородство – дело столь же одинокое и тайное, как и подлость?

«Клуб похитителей „матчбоксов“» процветал недолго. Рохля Рамос проболтался, а потом огорченно сообщил мне, что не сможет принимать участие в секретных операциях, потому что мама ему не разрешает. Когда несколько дней спустя я в отместку украл его лучший автомобиль, Рамос не проронил ни слова.

## 17

Мама вернулась с гастролей в Германии с каким-то невообразимым предметом. С этим невесомым и прозрачным приспособлением такое рутинное действие, как узнать время, стало настоящим праздником. Ремешок часов казался сделанным из воды. На циферблате вращались шестеренки, завораживающе двигались секунды.

Кое-какие места Сан-Тельмо в определенные часы становились небезопасны. Я хорошо знал их в моменты речных туманов и уличных холодов. Каждое утро, примерно без пятнадцати семь, я поднимался по пустынному проспекту Индепенденсия. Переходил улицу Дефенса, пересекал Боливар и встречался с Рамосом у дверей его дома. Дальше мы шли вместе, пересекали Чили, пересекали Мехико и ждали 2-й автобус, красный и какой-то безличный. Можно было бы дождаться популярный 86-й автобус, бело-голубой, но в нем пришлось бы толкаться. Однажды ранним утром, или поздней ночью, я шагнул к Рамосу. Шерстяной шарф закрывал мне половину лица. Вдыхая запах влажной шерсти и наблюдая следы от своих ботинок на тротуаре, я думал о новеньких часах и представлял, какие при виде них сделаются лица у моих друзей.

Когда я проходил мимо какой-то темной подворотни, двое ребят спросили, который час. Я машинально вынул руку, опустил шарф и ответил. К моему удивлению, мальчики не поблагодарили меня, а пошли следом. Чужая, что совершил ужасную ошибку, я ускорил шаг, не сводя сосредоточенного взгляда с горизонта. Краем глаза я видел, как они поравнялись со мной, и теперь я оказался зажат между ними. Через несколько секунд такой ходьбы я посмотрел на мальчика справа одновременно вопросительным и умоляющим взглядом. Этих секунд оказалось слишком много: наверное, они и сами гадали, как поступить. Мне оставалось пересечь Боливар и добраться до двери Рамоса, и тогда я был бы спасен. Мы все втроем припустили чуть ли не рысью. Уже на углу мальчик слева сказал мне:

– Гони часы, гондон.

Я удивился, услышав от одноклассника в свой адрес слово «гондон». Сердце у меня заколотилось. Мы шли дальше. Низкорослые преступники всегда казались мне особо зловещими. Мальчик справа, не повышая голоса, уточнил:

– Гони часы, сукин ты сын, а не то мы тебя пришьлем.

К Рамосу я явился в холодном поту, жуя свой шерстяной шарф. Тот выглядел раздраженным из-за моего опоздания. Как только я приблизился, сам того не зная, он сделал худшее, что только можно придумать: поднес указательный палец к левому запястью и несколько раз постучал.

## 18

Невезение. Вот чем был случай с часами. А много лет тому назад кое-кто из родных заключил бы, что я тоже неудачник. Горемыка по наследству. Потомственный бедолага. Пасынок судьбы. Двадцать два несчастья.

Биография моего двоюродного деда Омеро поистине представляла собой одну беспросветную неудачу. Не такой прилежный в учебе, как его сестра Бланка, не такой привлекательный, как его брат Леонардо, без творческой жилки, в отличие от брата Рубена, мой двоюродный дед Омеро сделал все, чтобы подтвердить наихудшие опасения на свой счет.

– Вечно у меня все из рук вон плохо. Таков уж я, джеттаторе<sup>25</sup> первой категории. Что ж тут поделать!

Омеро любил сомнительные начинания. Он держал магазинчик электронных товаров, открыл булочную, торговал страховками и чем только не занимался. Трех детей Омеро кормили не бизнес-идеи отца, а скромное жалованье их матери Лали, работавшей медсестрой. Бедняжка брат, сокрушалась бабушка Бланка, он ведь ни на волос не дурак, все проблемы у него оттого, что слишком унывает. Брат твой ни на волос не дурак, но любитель висеть на волоске, отвечал ей дедушка Хасинто. Словно желая насолить обоим, дед Омеро вскоре полностью облысел.

Близкие, не всегда способные дать полезный совет, в итоге смирились с его крахом. Омеро слишком мало верил в себя, чтобы рассчитывать на везение. Булочная его разорилась. Нередко он просыпал и бежал открывать ее, когда покупатели уже успевали разойтись по конкурентам. В довершение всего, помещение чуть было не сторело из-за бракованных печей. Магазин электроники тоже пришлось закрыть, видимо из-за долгов, хотя, подозреваю, к бухгалтерии мог приложить руку Леонардо, брат Омеро. Торговля страховками поначалу шла в гору. Контракты подписывались, а Омеро, с его сердечностью и безрассудством, вызывал расположение клиентов. Однако в конечном счете его успехи на этом поприще привели к трагическим последствиям: необъяснимым образом большая часть его клиентов стали жертвами ограблений и всяческих ужасных происшествий. Заподозрив аферу, страховая компания его уволила.

– Вот видите? Говорю же вам, я джеттаторе. Что ж поделать!

Чужой успех не вызывал у деда Омеро зависти, лишь чувство мрачного недоверия. Он пришел на генеральную репетицию к моей маме перед одним из ее первых концертов. После репетиции, когда она убирала скрипку в футляр, он пожелал ей удачи в своем стиле:

– Дерзай, Делита! Надеюсь, ты не слишком нафальшивишь.

Двоюродный дед Омеро был самым бедным членом семьи Касаретто. Последние годы он ютился в лачуге с земляным полом в районе Лонгшампс<sup>26</sup>. Да отлично мне тут живется, самое то, тёпленько, рассказывал Омеро гостям. Но в его беспечной на первый взгляд улыбке легко угадывалась горечь. Устраивайтесь поудобнее, настаивал Омеро, и менял тему, как только речь заходила о работе. Он так и не нашел что-то, ради чего стоило страдать столько, сколько он настрадался, в том числе стабильную работу, которая позволила бы ему отдохнуть от неудач. В последний раз мама видела его на открытии выставки дедушки Рубена, в маленькой галерее где-то в провинции Буэнос-Айрес. Родители только-только поженились, и, хотя им приходилось питаться одной лапшой, чтобы выплачивать ипотеку, в глазах Омеро они выглядели юными триумфаторами: оба – музыканты с профессиональными амбициями, да к тому же с собственной квартирой в столице.

---

<sup>25</sup> Персонаж одноименной сатирической пьесы Грегорио де Лаферрере. Так называют человека, притягивающего беду.

<sup>26</sup> Город в провинции Буэнос-Айреса.

Судя по фотографиям с той выставки, родители были одеты в стиле латиноамериканских хиппи; возможно, это еще сильнее потрясло Омеро. Они поздоровались. Че<sup>27</sup>, артистка, ну ты и худющая! и какая же красotka, ах, дядя, да будет вам, вы ведь знакомы с Виктором, нет? как дела, приятель, ну и повезло же тебе ухватить главное сокровище нашей семьи! как ваши дела, сеньор, ах, дядя, ну хватит, а вы видели Рубена? он только что был тут, эх, племяшка, как же я рад тебя видеть, ну обними же меня! дядя Рубен, мы как раз о вас спрашивали, вы, наверное, знакомы с моим мужем Виктором, ну разумеется, конечно, поздравляю, сеньор, мы в восторге от картин, честно, дядя, они невероятные, ну ладно, ладно, ребятки, большое спасибо, картины не шедевры, но они мои! давайте-ка подойдем ближе, хочу вас познакомить...

На той выставке мама узнала, что Лали ушла от Омеро. Двое его детей жили неподалеку, но почти никогда не навещали отца. Третий погиб незадолго до этого при невыясненных обстоятельствах, которые никто не хотел обсуждать. Двоюродный дед был лысее прежнего и с достоинством щеголял в старых обносках, а его улыбка временами казалась вымученной. Тем вечером при прощании, ладно, ребята, может, заглянете ко мне, а? разумеется, дядя, в ближайшее время, а вы берегите себя, да, да, что ж тут поделать! звоните когда хотите и забегайте, до скорого, дядя, рад познакомиться, сеньор, ну ладно, идите, чао, чао, еще раз поздравляю, спасибо, большое спасибо; тем вечером при прощании мой двоюродный дед произнес последнее, что мама от него услышала. Уже на выходе, тенью под притолокой, Омеро прошептал с каким-то ироничным восхищением:

– Ну-ка, дай хоть тебя потрогать.

И, крепко пожав ее руку, он развернулся и, что ж тут поделать, исчез в коридоре галереи.

---

<sup>27</sup> Междометие, являющееся отличительной чертой испанского языка Аргентины и Уругвая. Эрнесто Гевара добавил этот элемент в свое имя (Эрнесто Че Гевара) для того, чтобы подчеркнуть свое аргентинское происхождение.

## 19

В десять лет я решил, что пора мне, как и всем остальным членам семьи, тоже пойти к психологу. Эта мысль посетила меня ранним летним утром, в домишке, который мы снимали на пляже в Вилья-Хесель. Тогда я даже в фантазиях не мог вообразить себя в Испании, а какому испанцу взбредет в голову посещать психоаналитика во время каникул в Бенидорме или Торремолиносе? Тем утром я хорошенько порыдал, повертелся в постели, поныл поубедительнее, и родители, у которых за плечами было немало лет терапии, наконец сдались.

Кабинет психолога был идеально квадратен. Помню, что, войдя, я первым делом заинтересовался, одинаковы ли его стены в длину и ширину. К моему разочарованию, никакого дивана там не оказалось. Только широкий стол с двумя черными кожаными креслами по обе стороны. Слева от двери висела доска. Доктор Фрейдемберг показалась мне милой и не такой умной, как мама; может, поэтому она слушала меня так внимательно. Я очень удивился, что она не расспрашивает меня ни о семье, ни о моих переживаниях, ни о вранье. Она задавала какие-то общие вопросы. Видимо, в том-то и заключался подвох: вопросы казались слишком простыми, а сензора слушала слишком внимательно. Доктор Фрейдемберг никогда не спрашивала о том, что действительно хотела знать, а ходила кругами, постепенно беря меня в оцепление, поджидая, когда я утрачу бдительность.

На одной из сессий она сменила тактику и попросила меня нарисовать что-нибудь на доске. Мне пришло в голову скопировать карикатуру моего одноклассника Агирребенгоа, талантливого художника-левши. Я несколько минут трудился над рисунком; зная, что доктор Фрейдемберг наблюдает за мной, я пытался не подавать виду, что копирую по памяти. Она спросила, что это я нарисовал. Я объяснил, а она что-то ответила, и у меня возникло неприятное чувство, что ее ответ имел мало отношения к рисунку. Я слегка напрягся: если доктор Фрейдемберг не соберется с мыслями, мы так никуда и не продвинемся.

Она попросила меня нарисовать что-нибудь еще. Что? спросил я. Что хочешь, ответила она, что-нибудь, что тебе нравится, что придет в голову. Непростая задача: это ведь абсолютно разные вещи. Тогда, поскольку мне в голову ничего не шло, я просто начал считать. Своим самым аккуратным почерком, чтобы доктор Фрейдемберг могла следить за моими вычислениями, я умножал трехзначные числа на трехзначные; затем разделил результат на один из множителей и получил коэффициент, идентичный другому множителю. Когда я спросил у доктора Фрейдемберг, можно ли воспользоваться калькулятором для самопроверки, она со вздохом ответила, что наше время вышло.

– Ну как, милый? – мама, ждавшая в коридоре, закрыла журнал.

– Хуже, чем в школе, – ответил я, – думаю, я все завалил.

## 20

В тот год, когда родители отвели меня к психологу, у нас появилась домработница по имени Сильвина. С понедельника по пятницу в календарь моего детства вписаны десятки имен разных девушек. Для всех них мама была «сеньорой», хотя саму ее это слово ужасно смущало, и она пыталась выглядеть в их глазах серьезно, как учительница. Папа был «сеньором», обращался ко всем девушкам на «вы» и не особо им доверял. Может, он слишком хорошо помнил случай с Глэдис из провинции Чако: однажды летом, вернувшись в город без предупреждения, родители застали Глэдис в их супружеской кровати с двумя мужчинами.

Глэдис плохо себя вела, сообщили мне мама с папой на следующее утро. А я с тоской смотрел, как она печально пытается улыбаться мне своей вставной челюстью. Я огорчился из-за предстоящей разлуки, потому что очень любил Глэдис, а она научила меня читать слова, которые ее, в свою очередь, научила писать моя мама. Глэдис плохо себя вела, сказал папа, и я очень удивился, потому что обычно это Глэдис так жаловалась на меня родителям. У нее была темная сухая кожа, и на прощание она крепко меня обняла, утирая глиняные слезы.

Родом они были с севера Аргентины или из Парагвая. Пили сладкое мате. За редким исключением не умели читать. Но разве сам я знал хоть что-то об их мире и языке? Я даже понятия не имел, где находятся Чако, Формоса, Мисьонес или Асунсьон. И не понимал, почему к нам не приходили девушки из Буэнос-Айреса. Пока не получил внеклассный урок на тему классовых различий.

– Мамуль, а почему Мария приехала к нам издалека?

– Потому что тут она нашла работу, милый, а ей нужна была работа.

– Да, но почему она не поискала работу поближе к дому?

– Ох, зайчик, не знаю, может, она решила, что здесь ей будет лучше.

– Так далеко от семьи?

– Да, так далеко.

– Я не понимаю.

– Ну смотри, здесь у Марии есть другая семья, разве нет? Она заботится о тебе, а мы с папой заботимся о ней. Понимаешь?

– Нет.

– Что нет, радость моя?

– Ой, ну мам!

– Послушай-ка. Там, откуда Мария, люди живут очень бедно. Поэтому она приехала в Буэнос-Айрес: решила, что здесь ей будет лучше. Поэтому мы рады, что она живет с нами, а Мария рада, что смогла приехать, пусть даже она так далеко от своей семьи. Она очень хочет работать здесь, чтобы отвезти родителям денег, так всем будет лучше. Теперь ты понимаешь?

– То есть Марии нужно много работать в Буэнос-Айресе, потому что у нее бедная семья?

– Да, милый.

– Значит, мы тоже бедные?

– Ох, сынок, с чего ты это взял?

– Ну вы же тоже много работаете. Целый день на работе! Утром уходите, а приходите поздно.

– Это потому, что нам с папой очень повезло. Повезло, что у нас много работы.

– Тогда Марии тоже очень повезло?

– Чао, малыш, чмокни меня. Я уже опаздываю на репетицию.

Только одна наша работница была из провинции Буэнос-Айрес. Она жила в пригороде, в Ла-Салада, и каждое утро приезжала к нам в Сан-Тельмо. София была высокой, как дерево, крепкой, как башня, с кудрявыми, будто проволока, волосами. Обычно она работала в шлеп-

ках, открывавших ее огромные мозолистые ступни. Она казалась постоянно охрипшей. Софию я помню работающей и ласковой женщиной. Однажды она пришла на работу с подбитым глазом, ссадинами на шее и еще более охрипшей, чем обычно. Уверяла, что это несчастный случай. Ничего серьезного. В те же выходные мои родители поехали к ней в Ла-Саладу. Съездим в гости к Софии, объяснили они мне, вернемся вечером. Я просился с ними, но мне не разрешили. Однако взамен позволили на две ночи подряд остаться с ночевкой у моего друга Ворона. В понедельник родителям позвонил муж Софии и сообщил, что она отказывается от места.

Родным языком Бениты был гуарани. В первые дни у нас дома она научила меня проносить рохаху этерей. На гуарани это обозначало что-то вроде «я тебя очень люблю». До Бениты ни одну домработницу я так не обожал и в то же время не ненавидел. Обычно она носила розовые джинсы и маечки, открывавшие пупок и едва заметную дорожку волос вниз. То, что у девушек там тоже растут волосы, показалось мне открытием мирового масштаба. Вместе мы смотрели венесуэльские сериалы (с уклоном в драму), колумбийские (с толикой иронии) и аргентинские (со смутными экзистенциальными притязаниями). Играли в шашки, и Бенита часто выигрывала.

Мы болтали, дрались, ябедничали моим родителям друг на друга. Я обзывал ее самыми постыдными словами, а она причиняла мне ответную боль равнодушием. Наемная старшая сестра, беззащитная защитница. Мне нравилось наблюдать за ней во время сиесты, пока она дремала, лежа на спине. Я стерег ее сон, временами испытывая острую потребность в том, чтобы Бенита покорила меня грудью. Слава богу, об этом не узнала доктор Фрейдемберг.

Хоть Бенита и пропускала мимо ушей мои вопросы о зле и смерти, она мгновенно запомнила правила постановки ударения в испанском языке, которые я рассказал ей как-то утром за завтраком. Я по памяти дал ей те же упражнения, что мы делали на уроке, и Бенита выполнила их так же легко, как громила меня в шашки. Она не руководствовалась ни чистым инстинктом, ни природной интуицией, ни чем-либо подобным; напротив, она отчаянно цеплялась за силу аргументов и доводов. Знаю, что был к ней несправедлив: она была именно тем, чего не хватало нашему дому.

У Лили, в отличие от предшественниц, имелось образование: противостоя всевозможным трудностям, она окончила среднюю школу в Сантьяго-дель-Эстеро с хорошими оценками. Свободно и грамотно изъяснялась на испанском языке. Мои родители питали к Лили особую нежность и нечто вроде политической благодарности: она вернула им веру в несуществующую меритократию. А глаза Лили блестели от всего, что она наблюдала вокруг.

Разумеется, она не собиралась погрязнуть в уборке чужих домов. Ей хотелось вырваться из этого как можно скорее. Поэтому она методично и тщательно изучила содержимое всех шкафов, стеллажей и ящичков в доме. Пока мы с братом были в школе, она совершала продуманные кражи. Кража зимой летнюю одежду и наоборот. Она знала, когда родители получают зарплату и где хранят ее. Тщательно продумывала размер краденного, предусмотрительно воздерживаясь от круглых или слишком мелких сумм. Прежде, чем ее поймали, Лили успела прилично поднакопить. Родители не сдали ее в полицию скорее из политического стыда, нежели из сочувствия. Если я правильно помню, Лили была нашей последней домработницей.

## 21

Летом в Мирамаре папа вел себя как ребенок. Ты тоже был маленьким мальчиком, пап? Ну и ну!

В Мирамаре детство уходило и возвращалось, уходило и возвращалось. Как и слова. Как ненадежные воспоминания.

Воздух был соленым, а дни полыхали. Зейде Хакобо курил тайком. Баба Лидия, нахмутив лоб, варила варенье. Бабушка Дорита с дедушкой Марио позволяли себе немного расслабиться и навещали знакомых. Среди прочих – Тимерманов и Ротов.

Сеньор Тимерман был журналистом, будущим издателем газеты «Ла Опиньон», которую диктатура впоследствии заткнет, как затыкала все, что имело мнение. Сеньора Рот, певица, была матерью двух детей, Сесилии и Ариэля. У девочки было личико актрисы<sup>28</sup>. У мальчика – руки музыканта<sup>29</sup>. Но обо всем по порядку. Ведь тогда Ариэль еще не дорос до сиденья велосипеда, а его сестра то и дело заливалась смехом. Воздушная светловолосая смеющаяся Сесилия.

Уходя ужинать, Роты просили папу присмотреть за Сесилией. Она еще не понимала, кто она такая. Папа гладил ее по светлой макушке, и ее глаза затягивались поволокой. Ну и повезло же тебе, маленький папа, с этой твоей только прорезавшейся бородкой.

Ариэль засыпал, мурча колыбели будущему. Роты все не возвращались. Так что папа нетерпеливо шептал:

– Ну, давай же, красавица, подрастай.

Но босоногая Сесилия не росла.

Разумеется, нужно было репетировать. А на некоторые сцены уходит несколько лет. Время от времени папа повторял Сесилии на ухо:

– Расти побыстрее. Ну, давай же.

Но Сесилии хоть бы хны: она только выпрашивала у своего принца новую порцию флана. И дверь открывалась, и Роты возвращались домой.

---

<sup>28</sup> Сесилия Рот – аргентинская актриса.

<sup>29</sup> Ариэль Рот – аргентинский музыкант, композитор и продюсер.

## 22

Габриэла была дочерью соседей со второго этажа. Наши семьи проводили летние каникулы вместе. Балерина Габриэла. Я помню тебя высокой, хоть и знаю, что высокой ты не была. Твои соски поглощали весь свет на Вилья-Хесель. Ох уж эти коварные бикини. Замри ты хоть на мгновение, смог бы я тогда нагнать тебя по годам? Но ты крутилась, двигалась без передышки у меня перед глазами.

Да, я знаю, что твои уши немного оттопыривались, так и напрашиваясь на укус. Я не забыл и эту маленькую горбинку у тебя на носу: словно сам нос пытался вобрать твой аромат, Габриэла. У тебя были упругие ягодички, и ты мечтала танцевать в «Колоне». Ты ходила, широко разводя стопы, а твои истертые носки смотрели в разные стороны.

Я следовал за тобой, Габриэла, ожидая, когда вырасту, но отставал. Поэтому, привыкнув перебиваться намеками, я думал, что сошел с ума, когда однажды вечером на Вилья-Хесель ты позвонила в дверь, а я оказался дома один, привет, проходи, и ты поцеловала меня не очень-то по-детски. Ты прихватила с собой полотенце и холщовую сумку. Сказала, что пришла принять душ. У тебя дома не было горячей воды. А у меня дома не было родителей и брата. Не знаю, Габриэла, понимала ли ты, что это чересчур. Ты проскользнула босыми ступнями по полу в направлении к ванной, покачиваясь на восток и на запад. Я мигом, спасибо, крикнула ты с той стороны двери, раздеваясь. Твои пятки коснулись плитки, и душ заструился многозначной тишиной, и я вслушивался в каждое движение, угадываемое за плеском воды. Там дверь на замке, и шлепанье твоих ног за дверью, тут мое сердце, тоже на замке, и плеск твоей неотложной песни.

Рассказать ли, что я шпионил за тобой? Что ты выключила воду и позвала меня? Или что я сам, чуть ли не с мольбой, потянул дверь? Сказать ли, что тогда ты открыла мне или что не удивилась, когда я вошел, и не бросилась за полотенцем, Габриэла, а позволила мне запомнить тебя? Признаться ли, что твой лобок оказался больше и темнее, чем я воображал? Сказать ли, что, возможно, тебя тронула та последняя натянутая струна детства? Что ты храбро согласилась нарушить правила, что закрыла дверь и посмотрела на меня? Что с улыбкой, обещавшей все радости иного мира, пошла ко мне, и вода вновь нахлынула, словно тишина?

Это правда случилось? Это правда? Или это ложь?

Не в этом суть.

## 23

Загадочная утопия эти белые халаты. Я так и не понял, почему именно этот цвет сопровождал нас во всех провалах, разделял с нами мороженое или «Фанту», стоял на страже запятанной чести (сукин сын! меня зови как хочешь, но мать мою не смей...!), служил плащом, хлыстом или штангой футбольных ворот. Может, потому-то с нас и требовали белые халаты: пытались заставить угомониться.

И вот, значит, я как-то застегивал свою «утопию», что в то утро оказалось непросто, поскольку две пуговицы где-то потерялись. Если хватишься нижней пуговицы, можно было что-то придумать, на худой конец, передвигаться с предельной осторожностью. Но стоит только утратить верхнюю, пиши пропало. Сложно придумать неприятность похуже, если учесть, что директор школы как раз проводит переключку перед ежегодным экзаменом по чтению вслух и собирается ставить нам печать в тетрадки. Пас, знаменщик в запасе, насмешливо смотрел на меня. Его халат выглядел безупречно.

Ну и зрелище то было! Тридцать с лишним рыцарей с шашкой наголо и развязавшимися после баталий с мячом шнурками, тридцать с лишним всадников, только доказавших свою доблесть, вдруг съеживаются от страха: дрожат в седлах, закрывшись бумажными щитами. Все принимаются судорожно точить карандаши, напрасно зубрить содержимое тетрадок или засучивать рукава, которые никак не хотят подворачиваться ровно.

Никто не решался передавать шпаргалки под пюпитрами: Мельино панически расчесывал свои потемневшие от волнения блондинистые волосы; Алонсо никак не мог сообразить, куда девать очки, и перекладывал их с носа в карман, из кармана на парту, с парты на нос; а непревзойденный нос Рамоса боролся с платком в одном из знаменитых грандиозных приступов чиха; Йепес весь взмок, оборачивая учебник и пытаясь прикрыть все непотребные каракули, которые выводил в течение года; раскрасневшийся от напряжения Ботана, казалось, был не в силах совладать со шнурками; Тальябуэ с ужасом обнаружил, что написал свою фамилию как «Таллиябуэ» на каждой странице; Ирибарне ныл, что не успел вымыть руки после перемены; нападающий Герреро обдумывал, что сулит перспектива порвать отчет, полученный от директора, удрать и стать бездомным футболистом; Седрола делал домашнее задание при тайной помощи калькулятора и сверял полученные ответы с ответами гнусного зубрилы Риоса, разом превратившегося во всеми уважаемую фигуру; и только Эмсани невозмутимо перешучивался с Мизраи, дожидаясь своей очереди.

Однако мое внимание безраздельно принадлежало не им, а кое-кому другому, трагически непохожему на остальных.

Сантос был щекастым мальчиком с рано наметившимися усами. Все в классе над ним издевались. А сам он, казалось, то ли не замечал своего положения, то ли смирился, то ли ему просто было наплевать. Он был неизменной мишенью, на которой мы все отыгрывались, и поэтому глубоко в душе я им восхищался. Нужно обладать недюжинной силой или немалым мужеством, чтобы не обращать никакого внимания на одноклассников. Сам бы я на такое не решился, так что вторил остальным и отстаивал свою территорию, чтобы не стать следующим. Поговаривали, что мать Сантоса поколачивает его. А отец Сантоса был все равно что призрак: знали только, что он существует, но в глаза его никто никогда не видел. Однако меня влекли не семейные тайны, а тайна речи Сантоса. Потому что он не разговаривал. Не произносил ни единого слова.

Хоть Сантос всегда молчал, он вовсе не был немым. Его голосовые связки пребывали в отличном состоянии. Просто он отказывался говорить. Сам толком не зная почему, я угадывал некую схожесть между своей неудержимой болтливостью и его незыблемым молчанием. Когда Сантос улыбался, на щеках у него проступали ямочки, которые на любом другом лице

смотрелись бы мило. Но на его страдальческом лице они казались шрамами радости. Смоляные черные волосы Сантоса были острижены почти под ноль; его белесая кожа, казалось, не знала ничего иного, кроме зимы. Я воображал, что нашим близоруким одноклассникам, должно быть, издали лицо Сантоса видится сплошным серым пятном.

Алфавитный порядок уже выплюнул мою фамилию, и, как обычно, итоговой оценкой стало «развитие правильное чтение на отлично следует работать над орфографией и поведением». Почти все уже дали бой, в котором потерпели поражение или одержали победу, но Янес и Завадивкер все еще силились вызубрить текст, чтобы избежать неожиданностей во время чтения. Наконец настал момент, которого я так ждал. И та же буква, что призывает садиста, силача, слепого, стойка и стукача, подтолкнула Сантоса к директорскому столу. Он вышел вперед. Медленно, в своем совершенно утопическом халате. Вся ватага замолчала скорее в насмешку, чем в знак уважения.

Сантос встал напротив директора. Открыл книгу и впери в нее взгляд. Каждый год во время экзамена мы становились свидетелями небывалой сцены: Сантос одолевал свой страх и начинал говорить. Давай, ссыкун! слышались голоса из глубины кабинета. Сантос поджимал волосатую губу. Хотя сейчас я сомневаюсь, что все было именно так. Вот он слегка откашлялся. Где сегодня Сантос? С кем он теперь молчит? Вот он сжал книгу и поднял руки вверх. Или же все было наоборот, и в тот раз, в тот единственный раз он понял, что придется сдать. Задержал дыхание. Унизительный отказ от упорного молчания. Он медленно выдохнул, искоса глядя на нас.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.